

Константин Сомов

12+

ОДНА ЖИЗНЬ

(Повесть)

*Крикнув бешеным вороном,
Весь дрожа, замолчит пулемет
И тогда в моем сердце разорванном
Голос твой запоем...*

Николай Заболоцкий

Барнаул

2013

ББК-84(2Рос-Рус)6-4
С-616

Сомов К. К.

С-616. Одна жизнь. Повесть. — Барнаул: ОАО «ИПП «Алтай», 2013. — 232 с.

Повесть «Одна жизнь» является составной частью задуманного автором романа «Усобица», повествующего о Гражданской войне в Сибири и, в особенности в ее Алтайской губернии. О людях одной земли, оказавшихся по разные стороны баррикад.

Один из его героев студент-доброволец Первой мировой войны подпоручик Ненашев оказывается в горниле искалечившей его душу братоубийственной бойни. Он больше не хочет никого убивать, ни тех, ни этих, но не властен жить по своему усмотрению. Нужно выбирать...

ББК-84(2Рос-Рус)6-4

© К. Сомов, 2013

ISBN 978-5-88449-308-7

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Вечером 1 сентября 1918 года к дежурному по славгородской тюрьме подпоручику Игорю Ненашеву зашел его приятель, начальник местного гарнизона штабс-капитан Михаил Киржаев. Ненашев скучал и перед приходом штабс-капитана пытался развлечься тем, что мучил долгими расспросами о взглядах на жизнь бывшего павлодарского стражника, а ныне тюремного надзирателя Жадова. Высокий и грузный стражник, с рыжими, подковой усами на мясистом лице, на вопросы подпоручика отвечал односложно и, как казалось Ненашеву, насмешливо. «Да кто ж его знает», «про то одному богу ведомо», «жизнь она разная бывает». Застывшие, как густой кисель, глаза Жадова, похоже, не выражали никакой даже самой малой мысли, а разобрать под «подковой», усмехается он в действительности или нет, было невозможно. И это раздражало подпоручика особенно сильно.

Офицером студента филологического факультета Московского университета Игоря Ненашева сделала германская война, на которую он, презирая любого рода насилие, пошел добровольцем. В студенческой среде высокий, чуть сутуловатый, близоруко щурившийся — очки он не носил, считая их одним из символов ущербности — Ненашев слыл интеллектуалом и задавакой. Одно время он посещал считавшийся революционным кружок, но, пожалуй, больше из желания слыть прогрессивным человеком, чем из искреннего интереса и душевной революционности. К идеям, озвучиваемым его товарищами на собраниях, относился равнодушно, испытывая порой во время самых жарких споров немалую скуку.

На германской войне, воочию убедившись в хрупкости человеческой жизни, в прямой каждодневной, а то и ежеминутной ее зависимости от превратностей судьбы, он и вовсе перестал интересоваться политикой и в армии Временного сибирского правительства оказался, по сути, случайно. Движимый волей все того же провидения.

По старой университетской привычке он любил поболтать. Однако собеседник ему в этот раз попался уж очень неудачный, определить его жизненную позицию Ненашеву никак не удавалось, и считавший себя знатоком человеческих душ подпоручик начинал уже не на шутку злиться. Тем более что выпить у него ничего не было, даже дрянной местной самогонки, чай надоел, а от десятка дешевых папирос сильно першило в горле. Потому приходу приятеля Ненашев непритворно обрадовался, а выставленная гарнизонным начальником на стол дежурной комнаты бутылка коньяка увеличила эту радость вдвое.

* * *

Незадолго до этого в селе Черный Дол, расположенном неподалеку от затерянного в алтайской степи маленького городка с громким названием Славгород, местные мужики воспротивились призыву молодежи в армию Временного сибирского правительства. Правительство это было создано в июне в Омске после свержения чешскими legionерами и примкнувшими к ним боевиками белого подполья Советской власти в Сибири, и вошли в него представители едва ли не всех и левых, и правых партий, кроме большевиков и анархистов.

Для дальнейшей борьбы с ними и удержания уже отвоеванной территории новому правительству остро потребовались новые солдаты, и 31 июля его военный министр полковник Гришин-Алмазов объявил мобилизацию в Сибирскую армию двух возрастов, 1898 и 1899 годов. Призыву подлежало все коренное русское население и переселенцы, прибывшие в Сибирь до 1 января 1915 года. Первым днем мобилизации было назначено 25 августа 1918 года. Одна-

ко крестьяне Черного Дола этому указу не подчинились, и на то имелись особые причины.

Село это было необычным. Многие его жители в прошлом были донбасскими шахтерами, попытавшимися во время Первой русской революции 1906 года на своей родине в Украине разоружить сельскую стражу. При этом был убит жандармский офицер и двое нижних чинов полиции. Их похоронили, полсотни смутьянов упрятали в острог, а затем едва ли не все село Архангельское было переселено на Алтай, осваивать новые земли, где и получило новое название Черный Дол.

О своем боевом прошлом черnodольцы не забыли, и теперь, когда многие из них успели получить фронтовой опыт в окопах германской и даже принести с нее домой кое-какое оружие, вновь решили бороться за мужицкую справедливость. Для начала на сельском сходе они постановили новобранцев в армию не давать — и как решили, так и сделали.

Взяв с собой несколько офицеров, в мятежное село отправился штабс-капитан Киржаев, и закончилась эта поездка криком, свалкой и стрельбой. Один крестьянин был убит, а несколько других арестовано и доставлено в славгородскую тюрьму.

* * *

— Ну как тут субчики мои черnodольские, спокойно себя ведут? — усаживаясь на торопливо пододвинутую Жадовым табуретку, поинтересовался Киржаев.

— Да тихо пока сидят, шуму-гаму не слышно было.

— Ты смотри, а ведь в селе у себя какие шумные были, — удивился гость. — И орал на них, и материл, все без толку. Стрелять пришлось, но и то, как мне показалось, не утомонились они. Опять мобилизованных не пришлют. — Штабс-капитан закурил папиросу и еще раз поинтересовался: — Так, говоришь, тихо сидят?

— Тихо, — подтвердил Ненашев и кивнул стражнику: — Иди, служи, Варфоломеич, после договорим.

Жадов, облегченно козырнув, ушел, подпоручик ухватил тонкими пальцами горлышко коньячной бутылки, принялся разглядывать этикетку.

— А тебе не кажется, Миша, что вся эта затея — чистой воды ерунда, если не сказать больше — глупость? — поставив бутылку на стол, спросил он после паузы.

— Какая затея, о чем ты? — Штабс-капитан выпустил изо рта струйку папиросного дыма и с удовольствием вытянул сильные ноги. — Устал, — пожаловался он приятелю.

— Да мобилизация эта.

— Объясни, пожалуйста. Пока тебя не понимаю.

— Все очень просто, друг мой Мишель. Эти бестолковые, бессистемные призывы силы армии не прибавят, и случайные толпы тупых, силой загнанных в нее деревенских парней — это что угодно, но только не воинские части, способные выдержать боевые и походные испытания. Подожди-ка, я тебе попытаюсь дать более-менее четкую формулировку. — Ненашев вытащил из киржаевского портсигара папиросу, не спеша прикурил, изящным движением отщелкнул в сторону затухшую спичку.

— Ну, примерно так. — Подпоручик прищурил красивые голубые глаза и, вычерчивая папиросой дымные круги в воздухе, заговорил монотонно- лекторски, будто за кафедрой стоял. — Кучки одетых в военную форму людей, имеющих в руках ружья, представляют собой только весьма малую часть совокупности тех данных и качеств, которые необходимы для того, чтобы иметь право называть эти части годными для войны и для боя. — Ненашев убрал с лица заумное выражение и уже обычным своим голосом добавил: — К тому же они просто опасны. Мне приезжий офицер рассказывал, что в Томске и других городах таких вот мобилизованных офицеры опасаются больше, чем красноармейцев. Собираются господа командиры по ночам в отдельную казарму, а винтовки и пулеметы охраняют офицерскими караулами.

— Вы еще по камерам пройдитесь, господин подпоручик, мужичкам о своих мыслях поведайте. — Голос Киржае-

ва стал колючим, как щетина, штабс-капитан даже кулаком по столу пристукнул.

— Не нужно так нервничать, Михаил Петрович. По камерам я, естественно, не пойду и мыслями своими, иметь которые мне никто не запретит, делиться с разбойничками не стану, можете на этот счет пребывать в абсолютном спокойствии. — Подпоручик миролюбиво улыбнулся и вновь ухватил со стола коньячную бутылку. — И вообще, Мишель, сколько можно человеку горло разговорами сушить? Не пора ли нам, как говорят господа мужики, опрокинуть по единой?

— Вот тут, господин подпоручик, — в свою очередь улыбнулся Киржаев, — темы для спора я не вижу и охотно поддержу вас в благом начинании.

Приятели выпили отличного шустовского коньяку, закусив его хлебом и салом, которое принес офицерам запасливый Жадов. Киржаев вновь закурил, попыхивая папироской, замычал в нос: «Скажи мне, кудесник, любимец богов...», затем одним твердым движением смял окурочок о столешницу.

— Ну, хорошо, мобилизация не нужна и даже вредна. А что, по-твоему, нужно, чтобы разгромить Троцкого с Лениным и установить в стране нормальную, законную, богом данную власть?

— Это какую же, Мишель, — «невинно» поинтересовался Ненашев, — уж не монархию ли?

— Я бы, конечно, предпочел монархию, — не принял иронии штабс-капитан, — но давай будем считать самым законным восстановление твоего Учредительного собрания. С кем нам это делать? Ведь у большевиков в руках вся индустриальная Россия, военные заводы, запасы боеприпасов и оружия.

— С офицерами-добровольцами и другими волонтерами, желающими бить большевиков. Может быть, даже с наемниками, они, как правило, надежны. Ну и, конечно, с нашими союзниками, с Антантой.

— С союзниками, — усмехнулся Киржаев. — Это перед которыми мы так обделались? Им наши дела под ко-

прахом. И почему так... А ты говоришь... — Михаил взял со стола стакан и, не чокаясь с Ненашевым, выпил.

— В революции, как и в несовершенстве мира в целом, я, видит Бог, не виновен, — развел руками подпоручик, — поскольку в его создании никакого участия не принимал.

— Слушай, философ, — прищурился штабс-капитан, — а как ты вообще в армию попал, военное дело ведь для того и создано, чтобы побольше людей убивать? И почему после октября форму не снял, если ты такой нежный? Почему ты сейчас в Сибирской армии, в свою Владимирскую губернию не отбыл, ведь мог бы?

— В России меня большевики в свою армию мобилизуют либо просто по какой-нибудь разнарядке в расход пустят, а мне этого не хотелось бы. И потом, я сказал, что не хотел бы никого убивать, но не сказал, что не стану этого делать. Не беспокойся, о долге своем помню. А что касается того, как я в армию попал, так главным образом, вероятно — от скуки. Ну что у меня было в жизни: мутер-фатер, гимназия, чай, книги, варенье. Потом университет — надежды, терзания, кружки. Тоска. Ну, и Россию для меня никто не отменял... В общем, жизнь началась, когда ей смерть в затылок задышала.

— Аркадий, друг мой, не говори красиво, — рассмеялся Киржаев.

— Это ты правильно сочинение господина Тургенева вспомнил, — тоже улыбнулся подпоручик. — Есть за мной такой грешок, люблю порой щеки надувать. Сам не пойму, как после трехлетней грязи и кровищи привычка такая за мной осталась.

* * *

В коньячной бутылке оставалось не более четверти ее содержимого. Киржаев курил, а Ненашев, то усмехаясь, то хмураясь, просматривал последний номер газеты «Сибирская речь», который выпросил на вокзале у железнодорожника-омича.

— А ведь я был, похоже, не прав, когда столь саркастически отзывался о мобилизации, — заявил он вдруг. — Вот послушай, что по этому поводу здесь пишут: «На заседании Совета министров 27 августа управляющий военным министерством А. Н. Гришин-Алмазов с чувством глубокого удовлетворения заявил, что, по сведениям министерства, проходящая в Сибири мобилизация двух молодых годов проходит в большом порядке, как не проходила и при царском режиме. Во многих местах население не только охотно дает новобранцев, но и само предоставляет военным властям списки уклоняющихся».

— Это ж надо, — покрутил головой Ненашев, — как дело идет. Одни мы, убогие, военное министерство огорчаем.

— Оставь, Игорь, — поморщился Киржаев.

— Подожди, тут еще кое-что не менее интересное есть. Вот послушай. Телеграмма в газету из Бийского уезда нашей губернии:

«Исполненные любовью к Родине, с чистым сердцем явились мы в первый день мобилизации и вступили в ряды молодой, но уже славной Сибирской армии. Проникнутые горячей речью заслуженного боевого полковника — начальника гарнизона и напутствием Епископа Бийского Иннокентия, мы, новобранцы первого призыва...»

— Я же просил оставить, — насупился штабс-капитан.

— Еще последнее и все. Извини, но просто утерпеть не могу, чтобы не прочесть. Я совсем немного. Вот: «Мы, крестьяне Бийского уезда, родители призванных новобранцев, отправляем вам наших детей для службы в Сибирской армии. Молим Бога, чтобы он помог вам прогнать немцев и дать силы нашему правительству сделать Родину счастливой...»

— Достаточно, — хлопнул ладонью по столу Киржаев, — поручи лучше своему церберу, пусть приведет кого-нибудь из тех, кого мы сегодня из деревни привезли. Хочу поближе на наших супротивников поглядеть,

там-то в суматохе времени не было, все на одно лицо казались.

Вскоре стражник привел из камеры ничем не примечательного арестанта с мятым от бессонницы лицом. Рыжая борода под выгоревшей на солнце армейской фуражкой, такие же рыжие тяжелые сапоги, перешитая из шинели серая куртка — вот и весь мужик. Фуражку арестант тут же снял, сжал в руках, глаза уставил вбок, в стену, так что их выражение офицеры видеть не могли.

— Вот скажи мне, мерзавец, чего ты хочешь? Зачем вам выступать против власти? — Киржаев говорил спокойно, казалось, даже добродушно, будто сына нашкодившего расспрашивал. Спросив, стал терпеливо ждать ответа.

— Чтоб в армию хлопцев не забирали, — после долгого молчания разлепил спекшиеся губы мужик.

— А что ж ты не бунтовал в 14-м году, когда тебя — по одежке вижу, что бывший солдат — призывали на службу?

— Тогда вроде нужно было.

— Ну а сейчас армия что, по-твоему, совсем не нужна?

— Почему? — Поняв, что убивать его вроде бы не собираются, арестант немного осмелел. — Нужна. — И после паузы сказал еле слышно: — Только народная.

— Народная? — Голос Киржаева стал каким-то бесцветным, ничего не выражающим, и таким же белым, бесцветным стало в тот же момент лицо стоявшего напротив штабс-капитана мужика. — Народная?! Начиталась, обезьяна тупая, прокламаций! — сорвался на крик начальник гарнизона. — А я, по-твоему, кто?! Я чин горбом, я три года в окопах верой и правдой, три ранения. Вот, вот, вот! — Штабс-капитан остервенело ткнул себя пальцем в левую руку, бок и шею. — Ладно, захотелось вам равноправия, чтоб не было их благородий и так далее. Нате вам Учредительное собрание, выбирайте, каких вам надо. Пошли — проголосовали. Этот за первый список, тот за пятый, тот за сто двадцать пятый. Хорошо?

А вот шиш, — ощерился Михаил, — братишечки большевики — вот такие, Игорь, как этот. — Он ткнул пальцем во вздрогнувшего арестанта.

— Я не большевик, — заторошился тот, но штабс-капитан его не слушал.

— Посмотрели, видят, что-то маловато им голосов досталось, куда меньше, чем хотелось бы. Что они делают? А вот что. — Киржаев взял со стола бутылку и, выбулькав в стакан весь оставшийся в ней коньяк, одним махом выплеснул его себе в рот. — Раз! — Он вытер рукой выступившую в краешке глаза слезу. — И в дамки. Никакой учредилочки нет, и мой голос туда же, в помойку. А если я так не согласен?!

Мужик старался, но не мог унять охватившую его дрожь.

— Я боевой офицер, если я не согласен, чтобы об меня ноги вытирали?

Штабс-капитан повернулся к столу, крепко уперся в него руками, постоял немного, сдерживая нервный тик на лице, закурил и вновь обернулся лицом к арестанту.

— Так вот, скотина, если ты не хочешь отвечать на вопрос, зачем вам это все нужно, я на него отвечу сам. Я же местный, жил здесь до войны и видел, как тут мужику живется. Верно, трудновато было начинать в этой степи, но ведь давали же переселенцам скот, многолетние беспроцентные ссуды, инвентарь. И, в общем, кто хотел и трудился, начинал жить не так уж плохо. Уверяю тебя в этом, Ненашев, — повернулся он к подпоручику. — Особенно местная немчура, среди которой, ты можешь себе это представить, тоже большевики завелись! Так в чем же дело? — с притворно-удивленной миной на лице поинтересовался у арестанта Киржаев. — Какого лешего не хватало? На кой хрен им цей совет?.. А чтобы попановать. — Улыбочка у офицера враз пропала, и лицо его стало таким, будто не умело улыбаться вовсе. — Попановать захотелось мужичку, самому царем сделаться. И что имсем в результате? Разоренную страну!

Киржаев вернулся на свою табуретку, повернулся к Ненашеву:

— Игорь, кликни своего цербера, пусть самогону принесет. Выпьем, пока ум за разум от таких вот бесед с представителями беднейших слоев населения, — в голосе его слышалась откровенная издевка, — не зашел.

Явившийся на зов Жадов обстановку и настроение Киржаева оценил моментально, и менее чем через минуту на столе появилась бутылка с чистейшим первачом. Офицеры выпили, вновь принялись жевать хлеб с салом, широкое и твердые перья зеленого лука.

— Да если бы, — старательно дожевывая плохо поддающуюся зубам корочку сала и понемногу успокаиваясь, повернулся к арестованному Киржаев. Тот стоял неподвижно, как деревянная кукла, уняв наконец охватившую его дрожь. — Если бы мы победоносно закончили войну вместе с союзниками, а до этого, видит Бог, оставалось всего несколько шагов, мы бы получили от Германии и Австрии большие контрибуции, деньги, в том числе и для таких дураков, как ты. Россия раздавила бы внутренних смутьянов, да они, вероятно, и сами бы по окончании войны исчезли, продолжилось бы великое дело Петра Аркадьевича Столыпина, и у нас последний нынешний бедняк в самом скором времени жил бы припеваючи. А вы все это псу под хвост пустили, тупые обезьяны, свое же собственное благо туда отправили. И у вас еще хватает наглости называть меня врагом России! — Штабс-капитан с силой сжал кулаки.

— Я не называл, — удивленно-испуганно возразил арестант, но подвыпивший Киржаев его уже не слушал.

— И вот я тебе, дураку, что еще скажу, — ткнул он пальцем в рыжебородого. — Вот вы, ваша власть, до того, как мы пришли в Славгород, наложили на имущий класс города, по вашей формулировке, чрезвычайный налог в сто тысяч рублей, ограбили моего отца и других уважаемых в городе людей. Какие же вы революционеры после этого, вы просто разбойники с большой дороги.

— Тут ты не прав, Михаил, — после долгого молчания подал из табачного дыма свой голос Ненашев. — Это как раз и есть один из основных признаков революции. Еще во время французских событий, в самом начале XVIII века, друзья народа облагали революционными налогами богатых людей и аристократов. Один из коммиссаров тогдашних, из города Буржа, кажется, говорил, что разве несправедливо, если алчные спекуляторы и аристократы должны оплачивать издержки войны, которую сами нам и объявили, а другой, тоже не помню имени, сказывал так: «Если у богатого любви к свободе нет, так заберем хоть его состояние».

Киржаев терпеливо дождался, пока его приятель закончит свою тираду, и продолжил, внимательно глядя на мужика:

— А теперь, любезный мой, скажи мне, сколько у тебя скота?

— Две лошади и четыре коровы, — после небольшой заминки ответил тот.

— Ну а если к тебе кто-нибудь пришел и сказал, что для его святого дела нужно забрать у тебя лошадь, две коровы и половину зерна, что бы ты делал? И не ври мне, борода. Я этого не люблю.

— Не отдавал бы, биться стал.

— А я что делаю? — голос офицера звучал торжествующе. — Сражаюсь, как это тебе ни покажется странным, в том числе и за тебя, дурака. Потому что, и ты мне верь, если вернуться из-за Урала, не дай бог, красные, они заберут у тебя и лошадь, и коров, и не половину, а весь хлеб для своего сраного голодного гегемона-пролетариата. Они в России уже так делают. Потому как ты и такие, как ты, по их меркам — кулаки, живоглоты и кровопийцы. Понял, что я тебе говорю, или нет?

Арестант не отвечал, тогда Киржаев вскочил со стула и, ухватив мужика за бороду, взметнул его лицо вверх.

— Понял, скотина тупая?

— Пусти, — просипел арестант, — пусти, говорю.

— Ах ты, скотина!

Правой рукой штабс-капитан изо всей силы ударил рыжебородого в лицо так, что тот кулем посунулся в угол, а офицер метнулся вслед за ним, примериваясь ткнуть в бок мужику щегольским блестящим сапогом. И тут за рукав штабс-капитана взялись тонкие, но сильные пальцы долгие годы мучившего клавиши пианино Ненашева.

— Остановись, Михаил Петрович, ты же офицер!..

Когда арестованного вытащили из угла и увели в камеру, Киржаев долго молчал, выкурил почти до мундштука папиросу, а потом коротко сказал:

— Спасибо, Игорь.

— Не за что. Принесешь еще бутылочку такого же знатного коньяка и считай, что в расчете.

— Ты все шутишь. — Штабс-капитан прикурил от догорающей папиросы другую, бросил окурочок прямо на пол. — А ведь черт его знает, чем все это кончится.

— Есть еще надежда, — грустно подытожил Ненашев, — что удастся погибнуть до того, как Россия в тартарары провалится.

— Ну, разве что так. Черт, — мотнул головой заметно протрезвевший штабс-капитан, — зря не сдержался все же. Нужно было у этого субчика, какие планы у смутьянов, попытаться, не задумали ли чего, а я в болтовню ударился, психанул. Ладно, — Киржаев протянул руку поручику. — Я пойду. Думаю, что их сейчас бояться не стоит, у них после прошедших событий полные штаны должны быть, однако и расслабляться не следует. В общем, пока Россия в тартарары не провалилась, ты тут нюх не теряй и не добавляй больше. Это я тебе как начальник гарнизона говорю.

— Слушаюсь, господин штабс-капитан, — покачнувшись, встал из-за стола Ненашев, вытянув руки по швам.

— Брось, Игорь, — поморщился штабс-капитан. — Просто неспокойно у меня на душе. Так что и спать, наверное, домой не пойду, буду ночевать в другом месте.

— Уж не у Катюши ли?

— А вот это, господин поручик, вопрос бестактный, особенно учитывая ваше университетское образование. — Киржаев одернул мундир, поправил револьверную кобуру на ремне, взял со стола фуражку. — В общем, бди тут.

— Папиросок своих пару штук оставь, а то у меня от местных изделий уже горло дерет.

Михаил молча выложил на стол три папиросы, убрал в карман брюк портсигар и вышел за дверь, в теплый сентябрьский вечер. Ненашев поудобнее устроился на жестком табурете, привалился спиной к кирпичной кладке стены и не в первый раз с удовольствием подумал, что преобразованный в тюрьму дом купца Дитте, с началом германской войны поменявшего фамилию на Дитин, построен словно крепость. Не то что пуля, не каждый снаряд такой возьмет. Затем подпоручик надвинул поглубже козырек фуражки, пряча глаза от заполнявшего маленькую дежурку яркого света керосиновой лампы-восьмилинейки, и принялся пускать в потолок плотные облачка папиросного дыма.

Глава вторая

Не было ничего. Только черная тьма и тишина.

— Я жив или нет? — подумал Ненашев. — Наверное, жив, если думаю. Почему мне так страшно? Где я?

Он лежал на чем-то твердом, похоже, на полу. Осторожно провел ладонью рядом с собой, точно доски. И к тому же грязные. Чуть пошевелился — отозвалась тягучей стылгой болью онемевшая от долгой неподвижности спина. Попробовал поднять голову, и боль, еще более острая, пронзила и ее. Игорь предусмотрительно удержал в груди стон, стал вглядываться в темноту, и она понемногу начала отступать, разреживаться. Он скосил в сторону левый глаз и увидел почти рядом еле заметную светлую полоску. Протянул к ней руку, наткнулся пальцами на перекосенную при ударе шляпку, ~~гвоздя и как-то сразу~~, ни-

чего больше не увидев и не услышав, понял, где он. Так же мгновенно вспомнил и о том, что с ним произошло.

Он лежал на полу превращенного в тюрьму дома славгородского купца Дитте-Дитина и думал, что последнее, что он видел, перед тем как потерять сознание, было белое, скованное страхом и решимостью лицо молодого человека в черном матросском бушлате. За ним еще какие-то лица, рыжая борода, его собственная, Ненашева, рука, повинувшись не воле хозяина, но вековому инстинкту самосохранения, рефлекторно поднимающая наган. Выстрел, удар, темнота.

«Я здесь, я один, — привычно принялся выстраивать логическую цепочку Игорь и тут же едва не задохнулся от заполнившей все его естество вспышки огромной всепоглощающей радости. — Я живой, правда, живой! Слава тебе, Господи, уберег, пожалел».

На лицо его, словно из разом выжатой губки, густо хлынули слезы. Он слизывал их языком, размазывал по щекам слабой рукой и повторял раз за разом только одно:

— Прости, Спаситель. Прости меня, дурака такого.

Он долго еще лежал на грязном полу и, чувствуя, как разжимает на его теле свои незримые оковы, уходит куда-то в темноту его прежний владыка страх, думал уже не о возможной смертельной опасности, которая наверняка бродила где-то неподалеку. Не о том, как ее избегнуть-превозмочь, но лишь об одном: как он, такой умный, такой проницательный и ясномыслящий, не мог понять раньше такой простой и очевидной вещи — Бог есть.

* * *

Над головой Ненашева глухо ударили в пол каблук сапог, и тело Игоря вновь сковало страхом.

«Вот и все, — мелькнуло в голове. — И порадоваться не успел хорошенько. Так и помру без света белого».

Гнусаво закричали дверные петли, тонкая полоска света на полу поползла вширь. Накрыла его ногу, плечо, замерла у щеки. Сквозь узенькую щелку между полуза-

крытых век Ненашев сумел различить на серой простыне дверного проема лишь черные столбы грузных, будто слоновых, ног.

— Ну шо там, Мишка? — послышался густой, немолодой уже голос. — Есть чего потребного?

— Та ни, Прохор Спиридонович. Мертвяк убитый, похоже, охвицер, а бильш, навроди, ничего. Так тюрьма, чого ж тут потребного буде?

— Коль мертвяк, пишлы видселя, — потоньшал голос Прохора Спиридоновича. — Я покойников с мальства боюся, аж в животе заурчало. Що встав торчком, як у молодого в субботу? Пишлы, кажу.

Черные столбы качнулись, выплыли из зрачков. Вновь мерно застучали сапоги, наступила тишина.

«Нужно вставать, — вяло подумал Игорь. — Укрыться нужно, пока кто-нибудь с нервишками покрепче не появился. Ну же, Игорь Вениаминович, не будьте тряпкой. На счет три. Раз... Два... Три...»

Он рывком перевернулся на бок и едва сумел подавить плеснувшийся из груди крик. Разрывом гранаты осыпала черепную коробку резкая, едва не лишившая его сознания боль. Ненашев замычал, а затем и зарычал глухо, сквозь зубы, стараясь себя не выдать...

Когда боль немного смягчилась и стала почти привычной и терпимой, он медленно и осторожно перевернулся на живот. Полежал так немного. Затем твердо вдавил в пол ладони, оперся на них и, потихоньку сгибая ноги в коленях, встал на четвереньки. И тут же едва не задохнулся в жестоком приступе рвоты.

Кто-то невидимый и безжалостный, просунув руку в его горло, тянул и все никак не мог вытянуть наружу желудок Ненашева, будто выворачивая его наизнанку. Игорь вновь упал на бок, заскулил по-заячьи и почти тут же почувствовал, что ему стало легче. Он полежал так еще немного и уже без особого труда поднялся на ноги. Отер ладонью покрывшееся испариной лицо, сделал шаг, другой, оперся рукой о стену и, шаркая подошвами по доскам

пола, пошел в глубину подвала вдоль открытых настежь дверей камер. Куда идти, он знал.

* * *

За несколько дней до этого Жадов показал ему в дальнем, неосвещаемом углу едва приметную, такую же серую и затертую, как и шершавая стена подвала, дверь. Она практически сливалась со стеной и открывалась поворотом утопленного в ней кольца.

— Ух ты! — по-детски восхитился тогда Игорь. — А за ней, Жадов, подземный ход, наверное, по какому наш Дитте-Дитин на тайные встречи со своей возлюбленной ходил. Как ты думаешь?

— Да к какой там возлюбленной, — с едва заметной усмешкой пробасил стражник. — Тоже придумаете, господин подпоручик. Тут не в полюбовнице дело. У него на другой стороне площади тоже магазин был. Это вот в него ход и есть, я уж поглядел. Там тоже дверь имеется, только она наглухо заколочена. Я до тюремной службы в Павлодаре у купца одного в работниках был, доверием пользовался. В трактиры с ним богатые хаживал, когда Ермолай Иванович в запое бывали-с. Нос примять огольцу какому, коль хозяина обидеть вздумает, их домой доставить, коль сами уж не смогут. Силенка-то, слава богу, имеется. Так что штуку такую видел уже. Потому и эту дверку нашел, и колечко потайное. У нашего хозяина, считай, так же все устроено было.

— А зачем такая секретность? — недоуменно пожал плечами подпоручик. — К чему эти тайны пещеры Лихтвейса?

— Про пещеру ту не знаю, не слышал, а тут дело простое, — опять едва заметно усмехнулся Жадов. — Товар, какой подороже, а то незаконный, хранить можно. Опять же, хозяину неприметно можно из одной лавки в другую пройти, приказчикам сюрприз — внушение сделать, чтоб не спали при деле, или на предмет еще чего непотребного проверить. За нашим народом всегда глаз

требуется, и он всегда знать должен, что под присмотром. А у каждого человека, стоящего в жизни, место тайное должно иметься. Кто ее знает, жизнь ту, — вздохнул при этих словах стражник. — Вдруг да прятаться от нее потребуется. Неужто про то по нынешнему времени не думали, ваше благородие?..

Теперь вздохнул Игорь, и стражник осторожно-доверительно коснулся рукой его плеча.

— Я там, Игорь Вениаминович, на случай мешочек оставил — сухари, махорочка, сахарок, казенки немного. Ну и еще кой-чего. Пусть лежит, есть не просит. Я вам как своему, потому как по нынешним временам довериться нельзя никому, пакость стал народ. А вы из благородных, порядочность в себе имеете. Нам с вами, случай чего, друг за дружку держаться надо, поскольку мужик тут шибко беспокойный. Верно говорю...

* * *

Но не о махорочке и даже не о водке-казенке думал теперь Игорь Ненашев. Все его естество требовало сейчас только одного — воды! Он на ощупь отыскал потайную дверь, сделал в мазутно-черной вязкой темноте два неровных шага и, покачнувшись от слабости, ударился плечом обо что-то твердое и угловатое, ответившее на его удар мелодичным звоном бутылочного стекла.

Воды не было. Было шампанское. Ящик.

Наждачно-шершавое горло властно требовало влаги, но открыть в темноте ослабевшими руками бутылку Игорю удалось не сразу. А когда он все же сумел это сделать, почти половина содержимого драгоценного сосуда с веселым шипением выплеснулась на его мундир, вновь заставив Ненашева глухо зарычать.

Чувствуя, как ударяют в нос, перехватывают дыхание пузырьки газа, он в три приема выпил оставшуюся в бутылке сладковатую, теплую влагу. Заставил себя наглухо закрыть дверь, сел, привалившись спиной к стене, и вновь впал в забытье.

* * *

Полусон сменялся полуявью, и тогда Ненашев, с трудом встав, извлекал из ящика очередную бутылку и, выпив половину ее содержимого, вновь принимался думать о том, что происходит сейчас вокруг него и с ним самим. О том хаосе и ужасе, что охватил его родину, ту самую Россию, о которой он — будучи студентом — не раз отзывался насмешливо и пренебрежительно, а потом добровольцем пошел защищать. Медленно рассасывалась — уходила боль, и Игорь отчего-то — кто же хозяин своим мыслям — вновь и вновь вспоминал историю своего родного города, ставшего одним из краеугольных камней в истории создания Руси.

Сколько же раз с тяжко памятного 1238 года подвергался Владимир жестоким и разорительным набегам татар, которым частенько помогали в этом соседи — нижегородцы. В страшное, вытаптывавшее тела и души время первой великой смуты в 1609 году владимирцы восстали против ставленника Лжедмитрия Второго воеводы Вельяминова, закидав его камнями. В 1614 году окрестности города разорили поляки...

Здесь, на улице Большой Нижегородской, он родился и рос, долго не зная ни забот, ни лишений, и если и омрачали жизнь порой мальчишеские обиды, то проходили они так же быстро, как и появлялись. Сторонним людям могло показаться, что в семье чиновника городской управы Вениамина Сергеевича Ненашева к детям относились строго, и во многом это так и было, но и сам вечно занятый делами Вениамин Сергеевич, и ведущая домашнее хозяйство Надежда Прокопьевна своего сына и дочь не просто любили, но и уважали.

— Игорек, — не раз говорила ему родившаяся в простой, хоть и зажиточной крестьянской семье мама. — Не считай ты никого дурнее себя, относись к людям с уважением. У всякого поучиться можно, и у профессора какого, и у мужика.

Обычно молчаливый отец, случалось, становился замечательным рассказчиком, а главное, был человеком

думающим, способным оценивать окружающую действительность самостоятельно. Притом он практически никогда не терял чувство юмора и частенько вспоминал полюбившееся ему выражение Мишеля Монтеня о том, что человек рождается для счастья, а значит, должен быть счастливым. Став настоящим другом его отцу, знаменитый француз вскоре легко «записался» в друзья и к самому Игорю Ненашеву.

Скорчившись в углу темного подвала купца Дитина, вспоминал он и почитаемого им в университете древнегреческого мыслителя Перрона с его призывом к своим ученикам не только уклоняться от участия в событиях, но и воздерживаться от суждений, поскольку нет никогда уверенности в достоверности истины.

«Вот бы его сюда сейчас, этого Перрона, — с кислой улыбкой подумал Ненашев. — Показали бы ему мужички, как уклоняться. За тогу да на солнышко...»

Вместе с Перроном вспомнился родной московский университет, историко-филологический факультет, насупленный взгляд декана Аполлона Аполлоновича Грушка, ораторскому искусству которого Игорь откровенно завидовал, горячие обсуждения трудов Плавта, Катутла и Тибулла. Август 14-го, когда одним из первых ушел добровольцем на германскую войну хорошо ему знакомый студент Сережа Шмелев, сын знаменитого писателя Ивана Шмелева. И таких было много. Вскоре одним из них стал и Игорь Ненашев. Три месяца в Алексеевском училище, ставшие последними в его прежней, навсегда теперь ушедшей жизни, погоны прапорщика, война, революция.

И опять Монтень с его словами о том, что жертвы и ужасы, совершаемые для улучшения общества, приносят всегда настолько мизерные результаты, что лучше уж отказаться вовсе от этих результатов, чем платить за них столь огромную цену. В точности этих слов Игорь ругаться не мог, но смысл их в темном сыром подвале ощущал теперь с предельной ясностью, вновь и вновь вызывающей жестокие приступы головной боли.

Порой Ненашев и вовсе терял ощущение реальности происходящего. Ему вдруг явственно виделось, что он идет по своей Большой Нижегородской улице, слышит щебетанье майских птиц, тарахтенье извозчичьих пролеток, густой шалыпинский бас из выставленной в открытое окно граммофонной трубы...

Ему двенадцать лет, в руке у него свежая, лишь немного объединенная французская булка, на голове нагирающая околышем кожу на лбу новенькая гимназическая фуражка. Вообще-то, гимназисту не полагается гулять с французской булкой в руке, но что поделасшь с тем, что нигде более не бывает она так вкусна, как припорошенная пылью в майский день на Большой Нижегородской...

Вот показалась из-за густой уже зелени высоких деревьев тяжелая стена Владимирского централа. Взметнула ввысь стрелу трехъярусной колокольни приземистая Князь-Владимирская церковь, поставленная, по преданию, на месте священной рощи в бывшей Яриловой долине, где в дохристианские времена был идол языческого божества и отмечали свои торжества веселые и жестокие славяне. Вот и основанное после эпидемии чумы Князь-Владимирское кладбище, а за ним заросший тальником берег реки Лыбедь, такой же красивой, как и ее название.

«Хотя Клязьма красивее, конечно, — привычно подумал Игорь. — Хотел бы я увидеть реку красивее Клязьмы. Как же давно я ее не видел и увижу ли теперь... Там большевики... Там мама...»

Белели в затуманенном сумеречном сознании стены древних, у истоков России воздвигнутых храмов, выросли из тумана Золотые ворота, под которыми проходили, возвращаясь домой из походов, княжеские дружины, круглились останки крепостных валов, воздвигнутых русскими людьми еще в двенадцатом веке...

Проступали в вязкой темноте тосканский ордер колоны и высокое многоступенчатое крыльцо гимназии, прозванные шалопаевскими городские торговые ряды, где среди галантерейных лавочек, мехов, мануфактуры, шелк

и обуви скромно приютился магазин учебных пособий Паркова.

Там, в рядах между колоннами, прятался он с приятелями-гимназистами от дождя, наблюдал в ясный день, как слоняются по «шалопаявке» разные бездельники и гульливая молодежь, а в праздники чинно прогуливаются именитые горожане.

Там, над главными, прозванными почему-то «бабьими» воротами, за тугой дверью и высокой каменной лестницей, в полумраке двух небольших комнаток публичной городской библиотеки, за двадцать копеек в месяц открывал он для себя огромный, чудесный и чудовищный мир...

* * *

Так прошло три дня и три ночи, о чем Ненашев не знал, поскольку полностью потерял представление о времени, чувствуя иногда, что ему, в общем-то, все равно — сколько его прошло и сколько осталось. А испытал такое чувство, всякий раз, когда со страхом, а когда и вполне равнодушно, спрашивал себя, не сходит ли он с ума. Ответа на этот вопрос он не знал, и, как ни странно, это его не особенно и огорчало...

«А ведь и точно я в гробу этом с ума сойду, — подумал он вдруг с абсолютно ясным сознанием и мгновенно порожденным им страхом в очередной момент пробуждения. — Нет, шалишь. Это у нас пока не запланировано.»

Вместе с ясностью мышления к Ненашеву пришло и острое чувство голода, и Игорь решил незамедлительно действовать. Он неожиданно легко для себя встал на ноги, хотел было даже фуражку на голове поправить, но таковой на положенном ей месте не оказалось. «Так, спокойно, идем по порядку, — стал рассуждать дальше Ненашев. — Первое что? Свет. Свет — это спички. Спички...»

Стараясь не спешить и не суетиться, он опустил руку в карман галифе. Спичек там не было. Не было их и в другом кармане форменных брюк... Неужели остались на столе в дежурной комнате? От жалости к самому себе на гла-

зах офицера вновь выступили слезы. Он несколько раз глубоко вздохнул, попросил про себя «Помоги, Господи», и тут же скользнувшие в карман френча пальцы наткнулись на картон коробка...

На широкой, успевшей прихватиться белой плесенью деревянной полке блеснул, согревая душу, стеклянный колпак керосиновой лампы. Нашлись и сухари, и сало, и махорочка. Бутылку водки Игорь решил пока не трогать. Соблазн был велик, но страх еще больше. Не раз видел Ненашев на германской войне, как, лишая способности здраво мыслить, губила она даже сильных. А он был слаб...

Тогда подпоручик откупорил очередную бутылку шампанского, отметив, что в ящике их теперь осталось только три из двенадцати, и стал думать о предстоящей вылазке, без которой было уже не обойтись. Требовалось выяснить, что же происходит на белом свете, а для начала хотя бы на площади перед особняком-тюрьмой, и, конечно, найти воду. Главный вопрос состоял в том, что там, навсрху — день или ночь, поскольку от этого напрямую зависело, что принесет это путешествие подпоручику — жизнь или смерть.

* * *

Был поздний осенний вечер. Уже почти стемнело и продолжало быстро темнеть, но Игорю еще хватило времени, чтобы рассмотреть пустынную, изрядно запакощенную площадь.

Крепко утоптанная земля была усеяна изорванными, обгоревшими листками бумаги из валявшихся здесь же папок, очевидно, принесенных на площадь из судебного присутствия, канцелярии воинского начальника и родственников им мест. Виднелись пепелища костров, разбитые ящики, тряпичное рванье, пустые бутылки. Где-то за домами, не особенно далеко от тюрьмы, раздались два выстрела, и тут же лежавшему на полу у щели входной двери Ненашеву свело судорогой левую ногу. Но вновь наступила тишина, выстрелов больше не было,

и он понемногу успокоился, решив, однако, дальнюю вылазку в город пока отложить. Но вот воду требовалось найти обязательно...

Еще в подвале Игорь припомнил, что с левой стороны здания под дождевой трубой должна стоять большая бочка, и теперь при мысли о том, что она может оказаться пустой, он судорожно сжимал пальцами липкие горлышки бутылок из-под шампанского.

Бочка оказалась почти полной. Игорь вдоволь напился, наполнил водой обе бутылки, довольно улыбнувшись, уселся на землю. Широко разбросав в стороны ноги, привалился спиной к бочке и услышал густое, монотонное жужжание. Тут же в нос ему ударил тошнотворный трупный запах, знакомый Ненашеву еще с жаркого лета 16-го года. Он осторожно осмотрелся по сторонам и в нескольких шагах от себя различил у стены белеющее в темноте большое бесформенное пятно.

Сам не зная зачем, Игорь опустился на четвереньки, по-медвежьи переваливаясь, осторожно потащился в ту сторону. Над головой плотным комком закружились мухи, шею Ненашева свело брезгливой судорогой, но он не остановился. Закрыв нижнюю часть лица платком, наклонился низко над раздетым до нижнего белья телом, вгляделся в распухшее, как огромный капустный кочан, лицо и по вислым запорожским усам узнал Жадова. Стражник лежал на спине, одна рука на груди, другая откинута в сторону. Неподалеку от него белели нижними рубашками еще два трупа...

«Не успел ты в местечко потайное, Варфоломеич», — только и подумал Игорь, замычал протяжно от резанувших живот рвотных спазм, обдирая о камни ладони, торопливо пополз обратно в ставшую для него уже почти домом тюрьму.

* * *

Он дремал в стылой тишине подвала, когда навсрху, пробиваясь сквозь землю и камень, раздались звуки ру-

жейной стрельбы. Затем еле слышно, словно кузнечик в траве, застрекотал «максим».

«Пришли наконец, лентяи, — почти равнодушно подумал Ненашев. — Пора воскресать...»

* * *

Игорь шел по улице, явственно чувствуя, что возможность сойти с ума становится все более реальной. Как это бывает с другими, Ненашев видел на германской войне не один раз и воспоминаний этих попросту боялся.

— Что вы смотрите на меня, как солдат на вошь? — недружелюбно поинтересовался у него плечистый офицер в штабе прибывшего из Омска карательного отряда атамана Анненкова. — Кто вы такой?

— Подпоручик Ненашев из Славгородского гарнизона. Трудно понять?

— Да не просто, — усмехнулся офицер. — Вы бы на себя в зеркало взглянули, тоже бы засомневались. Вид у вас, господин подпоручик, попросту свинский. Любого товарища за пояс заткнете. Синячище под глазом, на голове колотун, будто киселем ее полили... Погодите, — перестал ухмыляться он. — Вы что же, ранены? Чем это вас?

— Это не важно. — Ненашев машинально провел рукой по спаявшимся в комок волосами и, сдерживая появившиеся у него еще на улице рвотные позывы, хрипло спросил: — Что это? Что происходит?

— Где и когда? — вновь насмешливо поинтересовался анненковец, поправив театральным жестом взъерошенные черные усы. — Потрудитесь говорить яснее. Вы пьяны, что ли, в самом деле?

— Не так, как хотелось бы, — скривился Ненашев. — Вы мне ответьте, что происходит? На улицах трупы обывателей, идет грабеж. У больницы я видел гору изрубленных тел. Куда-то на окраину толпами гонят других, а там работает пулемет. Это чудовищно. Ведь это обычные обыватели, мужики и горожане.

— Обычные? — недобро ощерился офицер. — Пострадали от смутьянов и сами же их защищаете. Из студентов, что ли?

Игорь молчал, изо всех сил стараясь справиться с приступом слабости.

— А вы знаете, что тут вытворяли еще несколько дней назад эти ваши обычные? — встав из-за стола, возвысил голос черноусый. — Что с такими, как вы и я, офицерами делали? Собрали банду в тысячу человек, захватили город, перебили десятки людей — это, по-вашему, обычные?

— И все равно это не дает права... — Ненашев побледнел, на лбу его выступили крупные капли холодного пота, мелко задрожала нога. — Они не ведали, что... Они... Это мы все... Я... Вы... Если...

— Хватит вам бабиться, подпоручик, — брезгливо поморщился анненковец. — Возьмите себя в руки. Вы же офицер, а не гимназистка.

Он едва не кричал, но Ненашев его почти не слышал. Грозный голос казачьего офицера уплывал куда-то в стену, становился тихим, беззлобным и безвредным...

— Эй, кто там? — расслышал он напоследок. — Кузьмичев, Спиридонов! Давай сюда, в лазарет его надо.

Глава третья

После того, что он увидел, выбравшись на белый свет из темноты купеческого подвала, Игорь Ненашев, по образному русскому выражению, потерял себя. Осмотревший его в омском госпитале врач поставил простой и обиденный по тем временам диагноз — ярко выраженная психическая истощенность, ослабление воли.

— Если верить господину Фрейду, мы сейчас наблюдаем типичный прорыв гипотетического защитного покрова, — почти весело сказал он другому человеку в бе-

лом халате, заставив того уважительно взглянуть на своего коллегу. — Пусть пока побудет у нас, скажем, недельки две. Уход, покой, питание, а там посмотрим...

Ненашев пробыл в госпитале больше двух месяцев, но видимых следов выздоровления так и не появилось. Да, собственно, и лечения почти никакого не было, так же как и времени у врачей для этого пациента. Раны душевные стали для них чем-то вроде насморка, кто только их не имел тогда, потому и воспринимались обыденно. Штык, шрапнель, пуля — другое дело: их следы были видны явственно, их можно было хотя бы попробовать залечить. А вот душа...

Получив длительный отпуск по болезни, Игорь всю дорогу до Томска провел в уже привычном для него оцепенении. Неразлично-одинаковыми казались люди. Одинаково пустыми, словно монотонное гудение, были их слова. Не ласкали, не кололи, не радовали и не обижали взгляды, словно их и вовсе не было.

В Томске жил сослуживец Игоря Николай Колокольников. Они крепко сблизились в окопах германской войны, поскольку были в офицерской среде сродни белым воронам. Оба из студентов, и тот и другой водку пили мало, карточной игрой не интересовались, сестрам милосердным после пяти минут знакомства юбки задирать не спешили. Чудаки да и только, если того не хуже. Всего на полтора фронтных месяца свела их вместе судьба, а вспоминал этого человека Игорь Ненашев едва ли не каждый день. Родственная была душа, как ее забудешь...

Еще летом 16-го Колокольников был тяжело контужен взрывом мортирного снаряда и отправлен в госпиталь, откуда в часть уже не вернулся. Комиссовали. Потом он писал Игорю из Томска, предчувствуя большую беду, предлагал приезжать к нему, если что...

И вот теперь стылым, первоснежным ноябрьским днем Игорь Ненашев стоял на выложенном в елочку кирпичном тротуаре перед солидным двухэтажным домом с двумя калитками по углам забора. Нижний этаж здания был выло-

жен фигурным кирпичом — особой купеческой кладкой, верхний радовал глаз еще не почерневшими от времени аккуратными овалами — одно под одно — кедровых бревен.

Игорь поставил на тротуар небольшой походный чемоданчик, верно служивший ему еще с 15-го года, поправил ремень на шинели и, вновь подхватив свою небогатую поклажу, наудачу толкнул рукой створку правой калитки. В конце по-осеннему унылой алейки обнаружилось высокое крыльцо, массивная дверь, а на ней такое же массивное, украшенное тяжелой львиной головой бронзовое кольцо. Увидев на двери табличку с надписью «Владимир Семенович Колокольников. Профессор», подпоручик облебенно вздохнул, взялся свободной рукой за кольцо.

Почти сразу же за дверью раздались быстрые шаги, в открывшемся проеме появилась невысокая девушка с простым, но милым крестьянским лицом. Даже положенные в лубочных рассказах конопушки, и те на нем имелись, правда, в меру, ровно столько, сколько нужно. Поверх длинного темно-синего шерстяного платья, с такими же длинными рукавами, на ней была парчовая кофта без воротника, но все это одеяние не скрывало крепкой и статной фигурки.

Она мгновенно заметила привычно оценивающий мужской взгляд, лицо ее слегка порозовело, но голос прозвучал без обычного для прислуги жеманства.

— Вы к Владимиру Семеновичу? Как вас представить?

— Я, вообще-то, к Николаю Владимировичу, прапорщику Колокольникову...

— Коленьки нет, — ответил ему появившийся из глубины прихожей пожилой мужчина в толстой оправе очков.

Судя по обвисшей под подбородком сероватого цвета коже, был он когда-то круглолицым и, вероятно, улыбочным. Теперь же никакой улыбки на его лице не наблюдалось, голос звучал тихо и вяло.

— Он здесь не живет, уехал? — поднимая с крыльца чемоданчик и собираясь вновь идти, теперь уже неизвест-

но куда, скорее из врожденной вежливости, чем по необходимости, спросил Ненашев.

— Он умер. Тиф. Полгода уже как нет Коли.

— Простите. — Игорь механическим движением поправил козырек фуражки. — Простите за беспокойство.

— Подождите, — остановил его тихий голос. — Скажите, вы подпоручик Ненашев, Игорь Вениаминович?

— Да, — удивленно подтвердил подпоручик. — А вы...

— Николай много писал о вас с войны и потом по приезде рассказывал, — пристально взглядываясь в лицо Игоря, сказал мужчина. — Знали бы вы, как я рад вас видеть. Заходите же, этот дом ваш. Я верил, что вы придете когда-нибудь... Позвольте я вас обниму. Мне о вас... Как вы... Вы не поверите, но я к вам как к сыну... Простите уж за сентиментальность. — Он отвел в сторону взгляд, быстро провел ладонью по глазам. — Рохля стал совсем, как Коли не стало, а потом и матушки его. А был-то... Студенты иные прямо в глаза смотреть не решались. До смешного, право... Да вы проходите в дом, что ж это мы, чуть ли не на пороге, — спохватился профессор. — Прошу, прошу.

Игорь молча кивнул. Чувствуя, как подкатывает к горлу тугой комок, двинул несколько раз кадыком, пытаясь его проглотить. Но в занятии этом не преуспел.

— Не отпущу я вас никуда, — сказал Владимир Семенович, внимательно прослушав невнятно-сбивчивый рассказ Ненашева. Намереваясь возразить, Игорь взглянул ему в глаза и сразу понял, почему это не решались делать иные студенты.

— Вам не приходилось бывать раньше в Томске, Игорь? Вы позволите мне вас так называть? — смущенно поправив на голове растрепанные, плохо постриженные волосы, поинтересовался старший Колокольников.

— Хорошо, называйте, — согласился Ненашев. — Меня уж давненько никто так не называл. А в Томске нет, не был, хотя по Сибири странствую уже больше года.

В Славгороде был, есть на Алтае такой степной городок, в Омске в госпитале, а здесь впервые.

— Хороший город, — убежденно сказал Колокольников. — Сибиряки утверждают, что не хуже самого Санкт-Петербурга, ныне Петрограда. Мы его называем Сибирские Афины. Университет, Технологический институт, Бактериологический институт, Общество любителей художеств, улицы много где мощеные — вам, коль нашей прошлой грязи не видели, и не понять, как это нам, томичам, дорого. Водопровод уже не в диковинку, на Почтамтской улице фонари электрические, правда, сейчас горят редко, — с видимой гордостью перечислял достижения родного города профессор. — Думали и трамвай пустить, да война помешала. Дамбу какую-никакую пленные австрияки с мадьярами соорудили, а то ведь сколько лет при наводнении вода до самого центра добиралась.

Народ здесь живет самый разнообразный. Рабочие в основном на железной дороге да мелких заводах, а так больше менцане, есть у кого дело свое — трактир, извоз, а больше без всякого дела, перебиваются кое-как. Сегодня человек рыбу ловит, завтра огород копает, через неделю сапоги шьет... Я, слава богу, своего привычного занятия не лишился, достаток кое-какой есть, хотя против прежнего, конечно...

— Вы не волнуйтесь, я вам обузой не стану, — перебил его Игорь. — Поживу несколько, кое-какие средства у меня есть, а потом...

— О чем вы говорите, Игорь? — грустно сказал профессор. — Поймите наконец, вы мне как сын, и послушайте меня еще немного, не перебивайте. Уж позвольте мне выговориться, я этой возможности давно ждал. Это, может быть, и выглядит странным, что я сразу к вам так, но ведь время какое, топчет душу и извинения не просит. Вчера можно было с реверансами жить, сегодня им не место, времени на них нет, что, может быть, и хорошо.

Потянулось сердце к человеку и все — радуйся, что так, береги его, а не считай-высчитывай, зачем оно, почему,

по какой причине да какая тебе польза или убыток от того будет.

Я вам сейчас то, что мною не просто думано-передумано, а болью душевной, чудовищной болью выстрадано, говорю, вы уж мне поверьте, очень прошу. А что я вам, не подумав, про доход сказал, на то внимания не обращайтесь. Долгими годами, трудами большими приходилось доход этот наживать, вот и пробьется, бывает, тоска по уюту, достатку, спокойствию.

Студентом был, лаборантом подрабатывал, хранителем кабинета за сущие копейки. Приват-доцентом когда был, штатного содержания вовсе мне не полагалось, только за лекции да практические занятия. Ну а потом пошло. Экстраординарным профессором три тысячи рублей в год получал, ординарным — четыре с половиной. По сравнению с российскими коллегами нам, сибирякам, полуторное содержание полагалось.

Да, кроме того, еще и подрабатывать можно было, кто совсем уж до денег охоч — иди в гимназию, там уроки давай... До смешного доходило. Помню, ректор наш, человек состоятельный и бессемейный, Судаков Александр Иванович, ординарный профессор по кафедре гигиены, держал в одном из университетских подвалов курятник, видать, чтоб на птицу не тратиться. Как губернские чиновники, профессора жили, право слово, — всплеснул руками Колокольников. — И все мало казалось нам, дуракам, — гораздо тише добавил он. — Что мне те деньги, квартира та, если ни Коли, ни Маши... А вы говорите...

— Простите, Владимир Семенович, — тихо попросил после паузы Игорь. — Поймите, для меня это все так неожиданно, я поверить боюсь, не могу себя убедить, что так быть может, как вот вы со мной. Знаете сколько я скотства повидал, одно отчаяние на душе. Как же тут...

— Знаете что? — поднялся с кресла профессор. — Чего это мы с вами в прихожей сидим? Она у нас, конечно, просторная, но все же пойдемте лучше в дом. Я вам наши апартаменты покажу, комнату Колину, она вашей теперь

будет, а Наталья Васильевна нам пока чай приготовит. Мы ее сейчас попросим.

— Я его уж приготовила... — сообщила, появляясь в дверях, уже знакомая Ненашеву девушка. Толстую кофту заменил цветастый фартук, волосы гладко зачесаны в красивую косу, в маленьких розовых ушах такие же маленькие позолоченные сережки с искусственными камушками, которых — Ненашев мог в этом поклясться, — когда она открывала дверь, не было. — Неужто стала бы дожидаться, пока вы попросите. Вы уж человека, пока своими разговорами не замучаете, и к столу не допустите, а он с дороги. Вот вы профессор, а такого дела простого не понимаете.

— Сдаюсь, сдаюсь, — поднял вверх руки профессор. — Логика бесспорная, потому побежден, повержен. Еще несколько минут, и мы с Игорем Вениаминовичем в вашем, Наталья Васильевна, распоряжении.

Жил неплохо, ординаторский профессор все-таки, фигура какая-никакая, — не умолкал Колокольников, проводя Игоря по анфиладе просторных, уставленных красивой дорогой мебелью комнат. — Вот даже пол паркетный сообразил — не абы как. Кресла вольтеровские завели, пианино... Да-а... Знать бы тогда...

Ненашев задержал взгляд на ярких, словно цветущий луг, обоях. Профессор, заметив это, тихо пояснил:

— Марья Николаевна нравилось, чтобы ярко было. Зима на дворе, а в доме тепло, цветы на стене, будто на лугу — вроде бы и лето.

Фарфоровые статуэтки, вазочки, вышивки, изящный столик с большим овальным зеркалом, а на нем столь милые дамским сердцам коробочки, баночки и флакончики, предназначенные для того, чтобы делать красивее тех, кого уже не было в этом доме, но все еще казалось, что они должны в него вернуться... Рядом с зеркалом на разноцветье обоев белела зимним пейзажем небольшая картина. Снег, сани, улыбающиеся лица крестьянских девушек.

— Алексей Степанов, — сказал из-за спины Ненашева хозяин дома. — Малоизвестный, но очень хороший художник. В Москве на выставке в девятом году приобрел. — Затем, будто поперхнувшись, закашлялся мелко, вытер платком выступившие на глазах слезы. — Маше очень понравилось, — словно извиняясь, пояснил он. — Вот я и купил. Женился я поздно, не считал возможным без хорошего достатка. По той же причине и ребенок у нас был один — Коля. Они полгода назад одним махом. — Профессор придержал Ненашева за рукав. — Позвольте я присяду ненадолго, слабость в ногах какая-то.

Он медленно опустил в кресло, Игорь присел рядом на венский стул.

— Вот я и говорю, все трое разом и все на моих глазах. Нас тогда всю семью какой-то особо страшный сыпняк свалил, — сказал, справившись наконец с нахлынувшим на него волнением, профессор. — Поначалу, когда вспоминал об этом, сразу слезы, теперь вот спокойнее стал, зачерствел, видать, как ржаной сухарь. Коля первый ушел, видимо, после тяжелого ранения и контузии слаб был, тиф с ним быстро справился. Потом Машина сестра Ирина. Она к нам с Наташей, та у нее в прислугах была и оставлять Ирину не захотела, из Перми от голода и большевиков убежали, — пояснил профессор. — Так вот потом Ирина, а потом и Маша... Наталья самая крепкая оказалась, взяла свое крестьянская порода. И сама поднялась, и меня, пожалуй, что с того света вытащила. Большевикам-то все одно было, вся профессорская семья подохнет или останется кто...

Профессор помолчал немного, затем решительно, хоть и тяжело, поднялся с кресла.

— Пойдемте, в самом деле, чай пить, а то меня Наталья Васильевна минуток через пять вовсе начнет поедом есть. Строга уж больно, но хозяйка отменная. А главное, редкой души и самоотверженности человек. Верите нет, был бы жив Коленька, с большой радостью бы его с ней обвенчал, коль согласился бы. А коль не согласился бы,

дураком бы назвал. Простая крестьянская девушка, а какая деликатность, какая сила... И дворянам многим такая не снилась.

* * *

— Лучше всего, Игорь Вениаминович, пить чай с медом, сахар портит и вкус, и цвет этого напитка, — безапелляционно заявил Колокольников, усаживаясь за покрытый свежей скатертью стол в просторной столовой. — И лучший мед — алтайский. Его и с чаем хорошо, и с хлебушком, а приятнее всего со свежим огурчиком. Верите нет, Игорь Вениаминович, не было для меня большего лакомства. Пробовали когда-нибудь алтайский мед?

— Случалось, — усмехнулся Ненашев.

— Ну, тогда вы меня понимаете. Знатная штука мед. Его хоть в кашу добавить или горошницу, кисель сдобрить, с ягодами мочеными — все хорошо будет. А в сотах его если... В хороший год он меньше сахара стоил, хоть господину, хоть простолюдину — любому доступен был. Но поскольку социальная революция, то, как в «Бесприданнице» господина Островского — не доставайся ж ты никому! А мяса сколько ели, вам в России и не представить. Вы ведь из Владимира, Коля так писал?

Игорь кивнул. Он уже очень давно, вероятно, с тех самых пор, как ушел из родного дома на германскую войну, не чувствовал себя таким умиротворенным. Охваченный дремотной истомой, он вполуха слушал голос профессора, время от времени то в такт, то не очень кивая его рассуждениям.

— Взять хотя бы котлеты — можно из рубленого мяса, можно отбивные, — откинувшись на стуле, не говорил, но декламировал профессор, по всему видать, немалый любитель вкусно и со знанием дела поесть. — А к ним картофельное пюре, маринованную тыкву или дикие яблочки. Если зима, в фарш можно и снега немножко добавить — для сочности. А печеночный паштет, а! На праздники бефстроганов, бифштексы, антрекоты, фарширо-

ванную курицу или поросенка. Про пельмени и говорить не буду, эта вещь требует особой беседы и без графинчика водочки попросту невозможна. А знаете ли вы, господин россиянин, что такое провесная говядина?

Ненашев тряхнул головой, прогоняя сон и показывая одновременно, что о такой замечательной вещи он и не слышал никогда.

— То — то... Готовят ее таким образом. В январские морозы вешают на подставки, устроенные на кровле дома, куски говядины, слегка посоленной. Там они висят до Пасхи, пока морозом и ветром мясо не высушит, не придаст ему особенный вкус. Провесную говядину брали с собой в дорогу, подавали на закуску. Это блюдо требовало крепких зубов.

Вы знаете, ведь наш сибирский крестьянин часто питался, как дай бог чиновнику средней руки в Петербурге. Я сам всегда был любителем хорошо поесть и в этом плане белой вороной в кругу моих коллег не был. Один из них, как помню, написал, что обилие пищи, способы сибирского питания... наложили печать на организацию и характер сибиряка. В Сибири мы встречаем более, чем где-либо, людей приземистых, ширококостных, крупных размером, увесистых, которые подают все признаки упитанности. Сибиряк холоден, рассудочен, отличается отсутствием всякой сентиментальности и какой-то высокомерной бесстрастностью и презрением к идеальному. Особенно мне нравится это «презрение к идеальному». Как по-вашему, это ныне только сибирякам свойственно или приобрело более широкую аудиторию?

Игорь лишь пожал плечами, показывая, что не считает себя в этом вопросе сведущим человеком.

— Коль вы, Владимир Семенович, про доходы заговорили да про еду хорошую, так я вам скажу, что с деньгами надо бережнее обращаться, рассудочно, как этот господин говорит, счет им вести, а вы что? — назидательно хмуря брови, сказала Наташа, выставляя на стол небольшой, вкусно пыхтевший самоварчик. — Намедни купили паль-

то в частной лавке за девятьсот рублей, а в кооперации вам бы точно такое в триста обошлось. Вот они, денюжки, немалым вашим трудом заработанные. До утра сидите керосин жгете, а потом вот чего выдумываете. — Она повернулась к Игорю, придвинула поближе к нему вазочку с колотым сахаром и другую с такими же румяными, как она сама, мягкими даже на взгляд баранками. — Коль кооперации этой самой не было бы, Игорь Вениаминович, не понять, как бы и жили. Цены-то на все, считай, в три раза выросли, а на керосин со спичками и во все пять. Так вот и говорю, в частных лавках аршин ситца одиннадцать рублей, а в кооперации и трех не возьмут, фунт соли у мироедов этих пятнадцать рублей, а в кооперации два.

— Я тебя, Наташа, с профессором Третьяковым познакомлю, — рассмеялся профессор и довольно провел ладонью по, казалось, успевающему вновь несколько округлиться и порозоветь лицу. — Он экономист, вам с ним будет о чем поговорить. О расходах, прибавочной стоимости, составляющей доходов...

— А что составляющей? — Наташа поставила опустевшую чашку на стол, принялась загибать на ладошке маленькие сильные пальцы. — Я шить могу, прачкой могу, можно для приходящих обеда давать или держать нахлебников на пансионе. В кухарки или горничные, няньки могу пойти. Горничной по двадцать целковых получала, а сейчас-то, небось, побольше выйдет. — Она пожалала плечами. — На фабрику могу пойти, конфектную или мебельную.

— Какая еще фабрика? Еще на завод кожевенный пойдешь в вонь, грязь, копоть, а главное, насмная сволочь хозяйская до женского тела лакомая, — возмущенно засопел профессор. — Холопы продажные бабьим голодным положением пользуются, отдаваться принуждают. Так и закрылись многие фабрики, а какие и остались, там своих рабочих не знают куда девать. Их и так у нас в Сибири по сравнению с Россией немного было, и то в основном на железной дороге, а уж теперь. Какие там фабрики...